

ГЕРМАН МЕЛВИЛЛ

Марди и путешествие туда

[209]

ИЛ 7/2019

Отрывки из романа

Перевод и вступление ДАШИ СИРОТИНСКОЙ

Роман, отрывки из которого предваряет это эссе, сыграл в творческой судьбе Германа Мелвилла важнейшую, можно сказать — решающую роль.

Когда бы ни зашла речь о жизненной истории этого писателя, она почти всегда глубоко нас трогает. Нам представляется немолодой неудачливый человек, который двадцать лет просидел за своей чиновничьей конторкой, вспоминая Тихий океан, узоры татуировок и жаркий стрекот тропического леса, — и в конце концов почти что потерял надежду доказать другим и даже самому себе, что конторка и бесплодные воспоминания — вовсе не то, ради чего он появился на свет. Вопросы, которыми он задавался, не получалось разрешить ни на страницах романов, ни в стихотворных строчках, ни в дневниках, ни в лекциях, ни в беседах с немногочисленными друзьями. А публика любит громкие голоса и уверенные фразы, — и потому очень быстро перестала воспринимать Мелвилла всерьез.

Именно “Марди и путешествие туда”, написанный в 1849 году следом за двумя в высшей степени успешными дебютными романами “Тайпи” и “Ому”, стал первым признаком беды, и на молодого писателя, на этого юнгу-самородка, поначалу принятого так восторженно, начали посматривать недоуменно и с подозрением. Исписался? Так быстро? Пройдет еще два года, будет опубликован “Моби Дик” — и все эти вопросы превратятся в утверждения. Ну точно! Исписался!

Наверное, современников Мелвилла можно отчасти понять. После возвращения в Америку из длившихся четыре года странствий по Южным морям он быстро завоевал популярность своими автобиографическими книгами, наполненными экзотикой, приключениями и давно знакомыми и полюбившимися американцам XIX века идеями эпохи Просвещения. Это стало причиной того, что он начал общаться с видными литераторами, журналистами, общественными деятелями своего времени. Расширение круга знакомств, неустанное самообразование, сильнейшая тяга к творчеству —

© Даша Сиротинская. Перевод, вступление, 2019

Целиком роман “Марди и путешествие туда” будет опубликован Группой Компаний “РИПОЛ классик” в течение этого года.

все это очень скоро привело к тому, что молодой Мелвилл открыл в себе силы создать нечто принципиально новое, не похожее на первые книги. Изначально задуманный как их продолжение (закключительный роман в трилогии о путешествиях по Полинезии), “Марди” вдруг переродился в нечто настолько нетипичное для литературы той эпохи, что было бы удивительно, если бы читатели действительно сумели с первой же попытки в нем разобраться.

Итак, Марди — это выдуманный архипелаг. Главный герой попадает туда не сразу — сначала он отправляется в плавание на китобойном корабле с многозначительным названием “Арктурион”. Однажды он видит над водой прекрасный мираж и понимает, что желает отправиться в собственное путешествие. Тогда он — как и многие герои Мелвилла, как некогда, собственно говоря, и сам Мелвилл, — решает бежать с судна. Вместе с товарищем он некоторое время плавает в открытом море на вельботе, встречая новых персонажей, которые становятся его спутниками, в том числе таинственную красавицу Йиллу. У Йиллы голубые глаза и белокурые локоны, и главный герой, понятное дело, влюбляется в нее с первого взгляда. Для того чтобы ее заполучить, ему приходится отправить на тот свет величественного вождя, племя которого как раз собралось было принести Йиллу в жертву своему божеству. Вскоре после этих событий герои и оказываются в Марди — изолированном причудливом мире, живущем по собственным законам. Герой выдает себя за Таджи — мардийское божество с солнца, — и благодаря этому его принимают со всевозможными почестями. Вскоре Йиллу похищают, и главный герой в компании новых и старых друзей отправляется в путешествие по всему архипелагу, стремясь отыскать возлюбленную.

Во время этого путешествия герои один за другим посещают входящие в архипелаг многочисленные острова — некоторые из них представляют собой пародию на реальные земные государства, другие становятся местом действия забавных или, напротив, трагических мини-сюжетов. Такими эпизодами становятся визит к жителям острова Пимминии, блюстителям моды и этикета (отчасти пародия на обитателей южных штатов США времен преддверия Гражданской войны), или посещение забавного доморощенного ученого и собирателя древностей Ах-Аха, чье нелепое кабинетное исследование на тему расстояния, на которое может прыгнуть блоха, не может не напомнить знаменитые схоластические споры о том, сколько ангелов может уместиться на острие иглы.

И пимминийцам, и Ах-Аху крепко достается — как от самого Мелвилла, так и от его персонажей, ведь герои, плавая от острова к острову, ведут шуточные или серьезные диалоги, в которых обсуждают виденное. Эти диалоги — важнейшая составляющая композиции романа. В основном в них принимают участие четверо мардийских друзей главного героя: Медиа, царь острова Одо, поэт и певец Юми, историк Мойи и философ Баббалакья. Эти персонажи — носители, можно даже сказать — выразители, принципиально различных мировоззрений, поэтому любая их беседа пре-

вращается в философский спор — как о вечных вопросах, так и о том, что было модно обсуждать во времена Мелвилла, например, о биологической теории происхождения человека, которую Баббаланья пародирует, пытаясь доказать окружающим, что человек произошел от кенгуру. Медиа — воплощение гедонизма, Юми — романтического идеализма, Мойи — здравомыслия и приземленности, Баббаланья — сомнения и духовного поиска, которые были так близки самому Мелвиллу. Безусловно, Баббаланья — персонаж-резонер. Во второй части романа у Баббаланьи появляется “черный двойник” — вымышленный бес Аззагедди, который, в отличие от самого Баббаланьи, ничуть не стесняется говорить всем окружающим правду в лицо, но, по сути, является как бы “вторым голосом” Баббаланьи и выдуман им исключительно для того, чтобы оправдать собственные дерзкие речи. Когда в разговор вступает Аззагедди, все перестают воспринимать Баббаланью всерьез, и за слова и поступки “беса” на него никто не в обиде. Аззагедди становится персонажем наподобие шекспировского шута — он представляет все обсуждаемое в абсурдном свете и, таким образом, превращает в ничто любые умозрительные рассуждения прочих героев.

Безусловно, забавных персонажей, остроумных диалогов и экзотического антуража было бы недостаточно, чтобы рядовая, в общем-то, аллегория преобразилась в нечто выдающееся. Но путешествие по мардийским островам — не более чем сюжетная оболочка для масштабного метафорического построения. Острова Марди окружает огромная лагуна; коралловый риф, словно стена, отделяет архипелаг от внешнего мира, и мардийские пейзажи прекрасны, как грезы — как те самые небесные миражи, которые поманили главного героя в путь. Но будет ли найдена Йилла? И где на самом деле оказались герои, если архипелаг то и дело, оговариваясь, называют созвездием, острова — звездами, путешествие — плаванием по эклиптике, а человеческую душу — небосводом?

Перед нами роман, замысел которого поражает воображение. Создавая архипелаг Марди, Мелвилл не стремился настрогать политических карикатур и подставить миру людей очередное кривое зеркало. Он составил карту человеческого сознания и предложил своим читателям отправиться в путешествие с этой картой в руках. Читатели, как мы уже говорили, сочли роман слишком сложным, запутанным, невнятным и разнородным — и отказались. И в самом деле, здесь все вперемешку — удачное и неудачное, оригинальное и заимствованное: философские монологи, заумный рационалистический юмор во вкусе просветителей, сюжетные и языковые клише, невыразительные перефразы из современной Мелвиллу политики, детальные описания навигационных приспособлений, сшибающие с ног потоки библейских отсылок, развернутые метафоры, которые непонятно где начинаются и где заканчиваются, лихое перемигивание с историческими деятелями, про которых никто, кроме самого Мелвилла, слыхом не слышал. Как видите, все то, за редкими исключениями, без чего невозможно себе представить неповторимую интонацию “Моби Дика”. Голос

автора — тот самый удивительный неуловимый голос, который в “Моби Дике” вовсе не равен голосу Измаила, — впервые появляется именно здесь, и смешные мардийские сценки перемежаются захватывающими дух лирическими отступлениями, исповедью человеческого духа. Такова глава “Грезы”, которой открывается эта подборка, — глава, исполненная невероятного образного и эмоционального напряжения и являющаяся одним из кульминационных центров всего романа.

Именно здесь, в “Марди”, Мелвилл впервые набрел на золотую жилу собственного таланта. Читая роман, можно “поймать” тот момент, когда он это почувствовал, и увидеть, как прямо на наших глазах он становится совершенно другим писателем. В “Марди” он сформулировал — и притом блестяще — важнейший для себя тезис о единстве мироздания и разума и слиянии всей истории человечества в едином миге конкретного личностного существования. Разнородность, несоразмерность, необработанность “Марди” — это подростковое несовершенство, за которым проглядывает уже сформировавшийся характер.

Мелвилл очень тяжело переживал неудачу своего третьего романа. Попытка, по его собственным словам, “впервые заговорить собственным голосом” обернулась сокрушительным провалом, после которого неудачи уже цепляли одна другую, словно падающие костяшки домино. Чего только не наговорили критики о “Марди”: и “убогая книжонка”, и “непролазное месиво”, и “непереваренная масса бессвязной метафизики”. Точно так же оценивали “Марди” и советские литературоведы, великодушно присуждавшие этому роману утешительный приз: да, это важнейший текст, текст-мостик между ранним, наивным подражателем-Мелвиллом и Мелвиллом — титаном американского Ренессанса. И все же — текст очевидно неудачный. Да что там говорить: Мелвилл и сам в конце концов отвернулся от “Марди” и до самой старости горько посмеивался над этим романом. Но письмо своему другу Лемюэлю Шоу, написанное в конце апреля 1849 года под впечатлением от отзывов критиков и читателей, Мелвилл заканчивает такими словами: “‘Что за чушь!’ — восклицает болван, ознакомившись с Теоремой Пифагора. ‘Что за чушь!’ — говорит озадаченный критик. Но Время, которое разгадывает все загадки, найдет свое объяснение и для ‘Марди’”.

На поиск этого объяснения у Времени ушло уже больше полутора веков — и все равно сказать, что оно справилось с разгадкой, нельзя. Да, мы гордимся тем, что под маской невзрачной судьбы и бесчисленных неурядиц сумели разглядеть писателя, во многом определившего ход литературной истории. И все же для нас Мелвилл остается, что называется, автором одной книги: великой, знаменитой — да! — но одной. Другие его произведения у нас изучаются и читаются с интересом, но воспринимаются, в первую очередь, с точки зрения их соотношенности с “Моби Диком”. Общепринятым стало мнение, согласно которому Мелвилл не создал ничего, что было бы сопоставимо по масштабу идеи и художественному совершенству с романом о Белом ките. Но тут, как мне кажется, скоро наметятся нешу-

точные разногласия — прямо как в традиционном сюжете о тайном претенденте на престол, который до самого своего совершеннолетия скрывался в каком-нибудь монастыре.

В 1919 году в честь 100-летия Мелвилла Реймонд Уивер выпустил книгу “Герман Мелвилл — моряк и мистик”, положившую начало переосмыслению места этого автора в истории американской и мировой литературы. Возможно, именно теперь, в год 200-летия Мелвилла (кстати говоря, 2019 год юбилейный и для “Марди” тоже), пришла пора рискнуть и в очередной раз посмотреть на этого писателя по-новому.

* * *

ГРЕЗЫ! Грезы! Золотые грезы: бесконечные и сияющие, словно цветущие степи, что тянутся вдоль священной реки Рио, из вод которой был соткан дождь для Данаи, степи, подобные закругленным бесконечностям; вот колышутся листья нарциссов, и мои грезы пасутся среди них, как буйволы, время от времени поглядывающие на горизонт и на весь остальной мир, а я тем временем мчусь между ними со своим копьём, чтобы пронзить хоть одного, пока бегут все прочие.

Грезы! Грезы! Приходящие и уходящие, словно восточные империи на страницах истории, взмахивающие скипетрами, подобными пикам Роберта Брюса при Бэннокберне, увенчанные коронами, — им, словно бархатцам в июне, нет счета. Вот вдаль, голубые и туманные, прямо с небес спускаются к земле их обрывы, неясно проступая в Андах и пуская корни в Альпах; и повсюду вокруг меня океаны мчат свои приливы и отливы, мчатся Амазонки и Ориноко, мчатся волны, словно всадники-парфяне; и везде поднимаются ввысь просторные леса, ибо сам мир — это лось, и леса — его рога.

А вот далеко на юге, вдаль от моих сицилийских солнц и виноградников, тянется антарктический ледяной барьер — китайская стена, воздвигнутая среди моря и кивающая ледяными башнями в мрачном облачном небе. Какая Тартария, какая Сибирь лежат за ее пределами? Безжизненны и пустыньны эти владения, мрачен и дик океан, разбивающий волны о подножие этой стены, то ли замерзшей, то ли пенящейся, служащей торговым портом одному только флоту айсбергов, что похожи на враждующие миры, которые ранят друг друга орбитами; их длинные сосульки выставлены вперед, словно копыя, готовые к бою. Широкий поток несет дрейфующие льдины, целые замерзшие кладбища, полные скелетов и костей. Белые медведи воют, когда их уносит прочь от детены-

шей, и скрежещущие острова крушат черепа выглядывающих из снегов тюленей.

Но подо мной, на экваторе, земля пульсирует и бьется, словно сердце воина, и я гадаю: не мое ли это сердце? Душа моя тонет, опускаясь в глубины, и поднимается до небес, и, словно комета, летит сквозь столь необъятные пространства, что все миры кажутся мне родными, и я взываю к ним, умоляя позволить мне остаться среди них. И все равно, подобный могучему трехпалубному паруснику, ведущему на буксире множество других кораблей, я дрожу, я задыхаюсь, я изнемогаю в своем полете — как охотно я сбросил бы те тросы, что стягивают меня!

И словно фрегат, я полон тысячами душ, и точно так же лечу я вперед, подгоняемый ветром, и внизу матросы выскакивают из кубрика, как шахтеры из копей, кричат, бегая по моим палубам, тянут меня за снасти во все стороны, и смотровые вышки раскачиваются на осях, и слышны возгласы рупоров, соперничающих за право охранить судно от мелей. Мели туманами и миражами охватывают белый риф Млечного пути, мимо которого несутся обломки разбившихся о него миров. Берег усыпан гималайскими хребтами их килей и шпангоутов.

Да, во мне множество, множество душ. Во время штилей, когда мой корабль лежит неподвижно на океанской глади Вечности, один мой голос заключает в себе все возможные: это целый оркестр — пение валторн и рожков, звучащее то громче, то тише, трепет золотых реплик и золотых ответов.

Иногда, когда эти Атлантические и Тихие океаны смыкаются волнами вокруг меня, я лежу между ними неподвижный, словно окруженное суши Средиземноморье, по-настоящему не знающее ни приливов, ни отливов. А затем я снова бросаюсь в брызги звуков, точно орел, заставший конец мира, поднятый бурей на рога и вознесшийся под небеса.

И все же я снова спускаюсь вниз и внимаю звучанию оркестра.

Словно поднялась на море величавая, пугающая зыбь, мощно расходятся от старинного органа Гомера звуковые волны, увенчанные легкими пенистыми гребнями напевов Анакреонта и Хафиза, а в вышине над моим океаном парит Шекспир, чье пение так сладко, будто в нем слились голоса всех на свете весенних жаворонков. На берегах моих, словно Кнуд, царствует бородатый Оссиан, ударяющий по заиндевшим струнам своей арфы, сплетенной из полевых цветов, среди которых заливаются уоллеры; слепец Мильтон подпевает басом моим петраркам и прайорам, и поэты-лауреаты коронуют меня остролистными, вечнозелеными бухтами.

Множество великих людей расположились во мне поудобнее и беседуют друг с другом. Вот святой Павел, что пытается переспорить Монтеня со всеми его сомнениями, вот Юлиан Отступник, засыпающий каверзными вопросами Блаженного Августина, а вот Фома Кемпийский, разворачивающий свитки с почерневшими письменами для всеобщего обозрения и разгадывания. Зенон бормочет про себя афоризмы, а Демокрит выкрикивает свои максимы хриплым голосом, и хотя Демокрит оглушительно и беспрестанно хохочет, а на устах Пирра играет усмешка, все же на моем сборище присутствуют и божественный Платон, и Прокл, и Верулам, а Заратустра шептал мне что-то на ухо еще прежде, чем я появился на свет. Я брожу по миру, который принадлежит мне, и описываю бесчисленные народы, как Мунго Парк, останавливавшийся на ночлег в африканских хижинах. Мне прислуживают, как Баязиду: Вахх — мой дворецкий, Вергилий — менестрель, Филипп Сидни — паж. Моя память охватывает жизнь до моего рождения; моя память, моя ватиканская библиотека, ниши которой таят в себе бесконечные перспективы, расцветенные пересекающимися лучами вечернего солнца, что пробивается сквозь средневековые окна.

И как великая Миссисипи собирает вместе водные народы: Огайо со всеми легионами ее потоков, Миссури, чьи ручьи являются как представители высокогорных кланов, Арканзас с татарскими ордами равнинных рек, — так и я, преисполненный прошлым и настоящим, издаю качу свои валы.

И все же существует то, что больше меня: Господь Бог повелевает мной, и хотя вокруг меня вращается множество спутников, все же и я сам, и все, что имеет ко мне отношение, — все мы кружимся вокруг великой центральной Истины, подобной солнцу, неподвижной и вечно сияющей в этой неосязаемой тверди.

Пламя вспыхивает на моем языке; пускай древних бактрийских пророков побивали камнями, — те, кто бросал эти камни им вслед, теперь тоже спят мертвым сном. Но кто бы ни бросал камень в меня, он должен быть подобен Герострату, который оставляет в храме пылающий факел, и даже если Чингисхан и Камбис объединят силы, чтобы его уничтожить, пусть его имя не умрет и останется на устах последнего смертного на земле. А раз так, пускай же в тот час, когда я, подобный Ксенофону, ведущему в Грецию отступающее войско, вернусь в небытие, — пускай в этот час вся Персия потрясает копьями мне вслед.

Мои щеки бледнеют, пока я пишу, я вздрагиваю, когда мое перо царапает бумагу, обезумевшая стая орлов терзает меня,

добиваясь, чтобы я взял назад свои дерзкие слова, но одетая в железо рука сжимает меня как в тисках и против воли заставляет выводить все новые и новые буквы. Как бы хотел я сбросить этого Диониса, что едет на мне верхом, но мои мысли душат, душат меня, пока я не начну стонать во весь голос; из дальних полей доносится до меня песня жнеца, а я слаб, я пресмыкаюсь в своей клетке. Лихорадка несется по мне, как поток лавы, мозг мой раскален, как заалевший уголь, и, подобно многим властителям, я менее стою зависти, чем самый последний батрак.

* * *

— Не спешите, гребцы! — воскликнул Медиа. — В застигшем нас тумане мы не заметили, как с нами поравнялась Падулла, место нашего назначения.

Падулла была совсем маленьким островком, платившим дань королю соседнего острова; ее население состояло из нескольких сотен листьев, цветов и бабочек и всего двух одиноких смертных; один из них был известен как почтенный антиквар, собиратель предметов мардийского быта, большой знаток и любитель всего древнего и удивительного и потому человек весьма разборчивый.

Все знали его под крикливым прозвищем Ах-Ах, именем, которое дали ему по тем полным восторга междометиям, которыми он приветствовал каждое пополнение своей коллекции.

Именно для того, чтобы получить представление об этом самом музее, Медиа так хотел пристать к берегу Падуллы.

Когда мы оставили лодки на берегу и прошли вглубь зарослей, сам Ах-Ах, опираясь на посох, вышел к нам: услышав возгласы наших гребцов, он отправился нам навстречу.

Старик представлял собой удивительное зрелище, в особенности его нос, поистине замечательный. Да и во всем Марди замечательный нос является наиболее ценной особенностью человеческой внешности — своего рода свидетельством уникальности, которое даже не нужно откуда-то извлекать, чтобы предъявить. Ибо, в конце концов, полученное при рождении имя наделяет человека индивидуальностью лишь отчасти, поражающий же воображение нос делает это столь же безусловно, как поражающая воображение героическая песнь. И даже лучше — ведь вы запросто можете пройти на улице мимо поэта, не имея ни малейшего представления, кто он такой. Даже подлинный герой не может считаться героем, если при нем нет его меча, и сам Вельзевул не сможет принять облик льва, если при нем не будет его по-

добного аркану хвоста, которым он стреноживает свою добычу. А вот того, кто прославился благодаря собственному носу, невозможно упустить из виду. Он уже знаменитость и не знает забот о том, чтобы сделать себе имя. Уютно устроившись позади своего носа, он нежится в его тени, принимая дань всеобщего внимания, куда бы ни направлялся.

Не вдаваясь в подробное топографическое исследование нюхательного органа Ах-Аха, удовлетворимся тем, что скажем: был он исключительной величины и на конце украшен лихой бородавкой — восклицательный знак на лице хозяина, выражающий вечное изумление перед чудесами зримой вселенной. Глаза Ах-Аха делали его похожим на существо, столь ненавистное евреям: они располагались на его лице на неравной высоте и вдобавок косили, а рот Ах-Аха был похож не столько на рот, сколько на зияющую рану.

Я не желаю быть слишком строг к тебе, Ах-Ах, но я должен обрисовать тебя таким, каков ты был на самом деле.

Вся прочая часть его персоны была перекорезена, скособочена и увенчана горбом, который он таскал у себя на спине, как тяжелую ношу. И, видит Бог, как же изнурительна та ноша, которую можно сбросить с плеч только в могиле!

Вот каким ветхим, древним и покосившимся был храм души Ах-Аха. Но сама душа его имела своим жилищем строение весьма занимательное. Сооруженное из наломанных в чаще старых веток и кое-как покрытое неопрятной лохматой соломой, оно больше напоминало какое-то страусиное гнездо. Внутри же, со всеми своими коридорами и закоулками, оно было таким запутанным и причудливым, что тягаться с ним в своем сходстве с лабиринтом не смог бы даже грецкий орех.

Именно здесь, покрытые пылью и сваленные в полном беспорядке, хранились драгоценные артефакты, редкости, старинные вещицы, давно вышедшие из употребления, которыми Ах-Ах дорожил, как дорожат зеницей ока или памятью об ушедших днях.

Старик был необычайно назойлив в своем стремлении обратить наше внимание на все свои реликвии; про каждую из них он рассказывал какую-нибудь нескончаемо длинную историю. Время уничтожает все, так что и вам придется, в свою очередь, потерпеть и выслушать повторение его рассказов. Итак, перечислим здесь по порядку наиболее выдающиеся из его приобретений:

то самое каноэ, в котором много веков назад бог Унья поднялся со дна морского (очень тяжелое, из бакаутового дерева);

каменный цветочный горшок, в котором хранилась та самая земля, на которой бог Унья оставил последний отпечаток

своей ноги, прежде чем покинуть Марди и отправиться в неведомые земли (сам отпечаток необъяснимым образом исчез);

челюсть Тоороороолоо, величайшего оратора времен Уньи (почему-то вывихнутая);

причудливый рыболовный крючок (сделанный из фаланги пальца Крави Хитрого);

таинственная Тыква, вся покрытая вырезанными на ней мистическими треугольниками и иероглифами, из созерцания которых, как говорят, один известный пророк черпал силы, дабы прорицать будущее (сохранила едва уловимый виноградный аромат);

цельный скелет огромной тигровой акулы, в желудке которой осталась нога некоего искателя жемчуга (убита на рифе во время отлива);

таинственный бесформенный брусок из крашеного копченого дерева (с тремя необъяснимыми отверстиями неизвестного предназначения);

своего рода духовные фасции — костяные орудия рыбьимеч, вставленные в акульи челюсти и перетянутые веревками из человеческих волос (ныне вышли из употребления);

удивительное опахало, которым Унья отгонял от себя всяческие несчастья (сплетено из листьев водяной лилии);

треножник, сделанный из ног аиста, с водруженной на него раковинной наutilus, в которой хранится скорлупа птичьего яйца, — в нем, согласно легенде, чудесным образом упокоилась душа умершего вождя (к сожалению, не выдержало атмосферного давления и треснуло);

две соединенные в рукопожатии забальзамированные правые руки, принадлежавшие воинам-близнецам, вместе погибшим на поле битвы (разъять невозможно);

любопытный кошелек из кожи с ноги альбатроса, с естественным украшением в форме трех острых когтей (первоначально принадлежал печально известному скряге Удавлюсь-за-Зуб)¹;

длинный запутанный локон русалки, очень напоминающий засохший шелковистый стебель подводного сорняка (найден между дельфиных плавников);

русалочий гребешок — твердый зазубренный хохолок буревестника (Ах-Ах испытывал особенный интерес именно к русалкам);

пилочки, скребочки и щипчики — инструменты выдающегося ножного цирюльника, орудовавшего ими в допотопные

1. Человеческие зубы являются мардийской валютой. (Прим. перев.)

времена (допотопные жители были особенно подвержены болезням ног из-за чрезмерной шероховатости, которая была свойственна в те времена земле);

зуб, который Зозо Чувствительный вырвал сам у себя в знак скорби о погибшем друге (заношен хозяином до дыр и потому не имеет ценности).

После того, как был проведен смотр всем этим диковинам, Ах-Ах повел нас в свою хижину, чтобы показать знаменитый телескоп, с помощью которого он, по его собственным словам, обнаружил на Луне муравейник. Этот телескоп был установлен в развилке хлебного дерева и представлял собой очень длинный и полый пальмовый ствол, а линзой служила вставленная в него чешуйка кракена.

Затем мы вернулись в кабинет, и он продемонстрировал нам бамбуковый микроскоп, который сыграл чудодейственную роль в его энтомологических изысканиях.

— С помощью этого инструмента, господа, — сказал он, — я выяснил, что глаз стрекозы состоит из двенадцати тысяч пятисот сорока одного хрусталика, а лапку блохи образует великое множество разнообразных мышц. Как вы думаете, господа, как далеко может прыгнуть блоха за один раз? На расстояние, в целых двести раз превышающее ее собственную длину; я регулярно замеряю прыжки блох специальной линейкой, каковую использую исключительно в научных целях.

— Воистину, Ах-Ах, — сказал Баббаланья, — твои открытия должны в скором времени принести грандиозные плоды, ведь ты предоставляешь такие бесценные данные теоретикам. Прошу, обратите на это внимание, мой государь Медиа. Если за один прыжок блоха преодолевает расстояние, в двести раз превышающее ее собственную длину, и оно пропорционально количеству мышц в икрах ее лапок, следовательно, какой-нибудь бандит вполне может наброситься на беспечного путника, находящегося за целую четверть мили от него. Верно я говорю, Ах-Ах?

— В самом деле, господа. И одно из величайших утешений, которые приносят мне эти исследования, состоит в постоянно крепнущем убеждении, что наш Марди был сотворен с безграничной мудростью и милосердием. Ибо если бы у людей были конечности, по устройству сопоставимые с конечностями блохи, то всякие мерзавцы могли бы прыгать прямо с острова на остров.

— Но Ах-Ах, — сказал Баббаланья, — какие еще открытия сделал ты? Помещал ли ты под свою линзу ростовщика, чтобы узреть его совесть? Или распутника, чтобы отыскать у него сердце? Использовал ли ты свой микроскоп, чтобы опре-

делить разницу между бархатистым персиком и румяной щекой?

— Использовал, — отвечал Ах-Ах печально. — И с тех пор, как я это сделал, у меня не хватает духу ни съесть персик, ни поцеловать щеку.

— Так тебе стоило бы немедленно разбить все эти линзы вдребезги! — воскликнул Медиа.

— Лучше не скажешь, милорд. Потому что любые глаза, которые нам даются помимо наших собственных, — не более чем вестники несчастья. Микроскопы заставляют нас почувствовать отвращение к нашему Марди, а телескопы будят в нас мечты о других мирах.

* * *

Полное имя старой Бигам было Охиро-Молдона-Фивона — имя, которое, судя по его длине, было чрезвычайно благородным, хотя злые языки и утверждали, что это было всего-то навсего ее настоящее, но слегка видоизмененное имя, под которым все ее раньше и знали и которое означало: “Женщина, которая делает хорошую тапу”. Но поскольку этот секрет был делом давно минувших дней, все считали разумным закрывать на это глаза.

Ее дочери, соответственно, наслаждались симпатичными прозвищами И, А и О, которые, как ни забавно, считались как нельзя более подходящими для таких аристократичных девиц.

Нельзя не описать одеяний этих трех Гласных. Каждая девица окопалась в круглой и необычайно обширной юбке с фижмами, сделанной из тростника, который представлял собой раму, предназначенную для демонстрации ткани с самой жизнерадостной расцветкой. Возможно, их прелести были так неочевидны именно потому, что прятались под этими неприступными юбками, подобно обессиленной армии, что скрывается в крепости, дабы наутро с прежним пылом броситься в бой.

Но будем вежливы и дальновидны и не обойдем своей любовью нашу хозяйку. Итак, Таджи, сидевший рядом с Бигам, принялся с глубоким сочувствием расспрашивать ее о состоянии здоровья. Но Бигам была из тех, кто старается избежать неловкостей, которыми опасны беседы; люди такого рода обыкновенно ведут разговор за двоих. Неудивительно, что мою даму почитали как не знающую себе равных на всех благородных собраниях в пимминийских рощах, поскольку именно она способствовала установлению того непрекращающегося гула, который считается наивернейшим

признаком царящего в компании веселья: благодаря ей все старались говорить как можно громче, чтобы только не слышать изрекаемой ею чепухи.

Узнав, что Таджи объехал с визитами некоторые мардийские острова, Бигам подивилась тому, как у него хватило духу рисковать жизнью, находясь среди варваров Востока. Она жаждала узнать, неужели состояние его здоровья не ухудшилось из-за неочищенного воздуха этих диких и отдаленных краев. Что до нее самой, одна мысль об этом заставила бы ее лишиться чувств даже в самом сокровеннейшем из ее покоев; она и за порог-то не выйдет, когда ветер дует с Востока, поскольку опасается заразы, которой напоен в тех местах воздух.

Обратившись к трем девушкам, Таджи очень скоро убедился, что его язык, совсем зачахший было в обществе Бигам, теперь должен пуститься во все тяжкие, чтобы развлекать ее полисиллабических дочерей. Они были так глубоко погружены в безмолвные старания казаться приятными и исполненными тонких чувств, что вступить с ними в простейший диалог оказалось задачей далеко не легкой. Сбитый этим с толку, Таджи отказался от мысли рассыпаться в остроумных замечаниях перед всеми тремя и сосредоточил свои усилия на О. Думая, что ей может быть любопытно узнать что-нибудь о солнце, он мельком упомянул, что родом как раз из тех краев. Тогда О заинтересовалась, где находится страна, о которой идет речь.

— Далеко отсюда, высоко в небесах, — ведь я говорю о солнце, что дает свет Пимминии и всему Марди.

О отвечала, что, если и так, она все равно никогда его не видала, поскольку конструкция ее юбки такова, что она не может запрокинуть голову, не внося смятения в ее тростниковые ряды. Вот почему она всегда воздерживалась от астрономических наблюдений.

Услыхав это, грубый Мойи расхохотался. И этот спасительный хохот избавил Таджи от необходимости занимать Гласные и дальше. Ибо таким вульгарным и неуместным считалось на Пимминии звучание искреннего смеха, что все три девицы попадали в обморок рядком, а их круглые юбки встопорчились, точно пустые бочки. Впрочем, ожили они очень скоро.

Между тем учтивые юноши в аксельбантах на своих циночках не проявили ни малейшего волнения по этому поводу и ничего не предприняли, кроме того, что положили себе на глаза полупрозрачные листья, держа их за стебельки; листьями этими они стремились уберечь себя от созерцания пришедших в полный беспорядок юбочных каемок, — быть может, опасаясь откровения, которое могло снизойти на них при виде оголенной лодыжки или того, что ей сопутствует.

Каково было точное предназначение этих листьев, сказать трудно, в особенности потому, что их владельцы то и дело поглядывали то поверх листа, то под ним.

Бедствие Гласных вскорости увенчалось окончанием всей вечеринки, и с наступлением вечера, чувствуя себя утомленными выполнением повинности по знакомству с пимминийским обществом, мы опустили на циновки и обрели на них тот покой, который неизменно ожидает уставших.

* * *

Остров остался за кормой, и вся компания воспрянула духом. Снова Мойи принялся в благодушной рассеянности расплетать и заплетать бороду, а король Медиа покуривал свою реющую на ветру трубку, прислушиваясь к взволнованному пению Юми, взволнованным рассказам Мойи или взволнованным размышлениям Баббаланьи, и опорожнял кувшин за кувшином, то и дело подливая королевского вина своему сердцу.

Как-то раз Медиа, который порой обращался к Баббаланье как к своего рода энциклопедии – впрочем, весьма ненадежной, – повелел рассказать о приливах и отливах и той рабской преданности луне, которую им приписывают.

Верный своей энциклопедической натуре, Баббаланья ответил цитатой из источника более древнего и авторитетного, чем он сам; попросту говоря – из неизменного Бардианны. Выяснилось, что почтеннейший эссеист посвятил этому вопросу целую главу, названную им “Наблюдение за непостижимым через мельничный жернов”, и в своих рассуждениях, пусть и несколько туманных, выказал такую глубину познаний, что все общество было совершенно сражено его эрудицией.

– Баббаланья, этот твой Бардианна, как видно, был выдающимся учеником, – проговорил Медиа после паузы. – Светочи знаний он заглатывал не иначе как целыми вязанками.

– Не совсем так, милорд. “Терпение, терпение, философы, – говаривал Бардианна. – Задуйте лучины и идите хорошенько прожуйте свой обед; подождите некоторое время и очень скоро мудрость явится сама”.

– Великолепный совет! Почему бы не следовать ему, Баббаланья?

– Потому, милорд, что я последовал ему и пошел дальше.

– Ты верен себе, Баббаланья: ты ни на чем не останавливаешься.

– О да, быть в движении – мой девиз; но раз уж мы заговорили о прилежных учениках, слышал ли мой господин когда-нибудь о Мидни, онтологе и энтомологе?

– Нет.

— Тогда, милорд, вы слушаете о нем сейчас. Мидни придерживался того мнения, что дневной свет вульгарен; он достаточно хорош для того, чтобы сажать тару или бродить туда-сюда, но совершенно не годится для возвышенных занятий наукой. Мидни трудился по ночам и от заката до восхода корпел над томами логиков древности. Подобно большинству философов, Мидни был человеком добродушным, но было кое-что, что неизменно выводило его из себя. Читать он ходил в лес, потому что там можно было раздобыть светляка; зажав насекомое в руке, он водил им над страницами, просматривая строчку за строчкой. Но свет этот был недолговечным, и где-нибудь посреди затишья замысловатых рассуждений, когда вот-вот разразится гром откровения, насекомое неизменно гасло, так что Мидни оставалось искать смысл прочитанного ощупью, в потемках. В такие минуты он восклицал: “О! О! Хоть один проблеск солнца, чтобы он на мгновение осветил мой путь!” Но солнца не было, и Мидни приходилось вскакивать на ноги, хватать пергамент под мышку и рыскать по болотам в поисках следующего светляка. Частенько набрасывал он на кочку свой тюрбан, думая, что заполучил желанную добычу, но обманывался. Он предпринимал новую попытку, но так же безуспешно. Наконец ему удавалось поймать одного, но едва успевал он прочесть три строки, как свет гас опять. И так повторялось снова и снова. Так он вечно оскальзывался и спотыкался на пути к знаниям, и за мгновением прозрения всегда следовало погружение в трясину.

Эта нелепая сказка вызвала у одного из самых bestолковых наших гребцов приступ неконтролируемого веселья. Оскорбленный таким нарушением приличий, Медиа резко одернул его.

Но тот возразил, что не может не смеяться.

Медиа как раз собрался еще раз хорошенько его распечь, когда Баббалакья попросил разрешения высказаться.

— Милорд, он не виноват. Взгляните — он честно старается подавить смех, но у него ничего не выходит. Точно так же не раз бывало и со мной. И как часто я тщетно пытался сдержать хохот — а слушая некоторые истории, смеялся и плакал одновременно. Но разве могут соседствовать в одном существе противоположные эмоции? Нет. Сам я хотел плакать, а мое тело — улыбаться; в результате мы чуть не задушили друг друга. Мой господин Медиа, смеется тело этого человека, но не он сам.

— Но это тело, Баббалакья, принадлежит именно ему, и ему следовало бы лучше с ним управляться!

— Распространенное заблуждение, милорд. Наши души принадлежат нашим телам, а не тела душам. Ибо кто из них

заботится о другом? Кто поддерживает порядок в жилище? Кто следит за тем, чтобы аорты и предсердия вовремя наполнились, а выделения не задерживались внутри? Кто трудится без усталости, пока другой спит? Кто так своевременно намекает и убедительно предупреждает? Кто пользуется непререкаемым авторитетом? Конечно же, наше тело. По его указке вы двигаетесь; если оно приказывает бежать, вы бежите сломя голову. Взгляните на идиота и вы увидите, что тело может практически полностью обходиться без души, но осязаемых и неоспоримых доказательств существования души без тела мы не имеем. Милорд, даже мудрейший из нас бессознательно делает вдох и выдох. А сколькими миллионами исчисляются те, что изо дня в день живут благодаря непрерывной работе тонких внутренних процессов, ничего о них не зная и нисколько об этом не заботясь? Они понятия не имеют о млечных сосудах и лимфатических узлах, о бедренных и сонных артериях, о количестве железа в крови и каше в голове; они живут только благодаря милосердию собственных тел, в которых сами они не более чем дворецкие. Я утверждаю, милорд, что наши тела — лучшее, что у нас есть. Душа до того примитивна, что предпочитает зло добру, и при этом заключена в оболочку, мельчайшее действие которой исполнено самой непостижимой мудрости. Зная за собой это преимущество, наши тела склонны быть своевольными; бороды у нас растут без всякого нашего на то позволения, более того — каждый знает, что порой растут они даже у мертвецов.

— То есть вы, смертные, живы даже тогда, когда мертвы, Баббаланья?

— Нет, милорд; но наши бороды переживают нас самих.

— Какое остроумное различие; продолжай, философ.

— Милорд, если бы у нас, мардийцев, не было тел, мы бы лишились самых сильных наших страстей, в которых так или иначе всегда коренятся причины любых наших действий. Следовательно, без тел мы были бы чем-то совсем не похожим на то, что мы есть на самом деле. Вот почему то изречение Альмы, которое даже преданнейшие из его последователей считают самым неправдоподобным из его заветов и которое противоречит всем общепринятым представлениям о бессмертии, я, Баббаланья, называю самой разумной из его доктрин. Оно звучит так: “В последний день мира каждый воскреснет во плоти”.

— Помилуй, Баббаланья! Не говори полубогу о воскресении.

— Тогда позвольте мне рассказать вам одну историю, милорд. Вы найдете ее в “Самых веселых фокусах импровизато-

ра Квидди”. Книжка эта весьма забавная. “Фугл-фи” — это ее финал: “фугл-фи, фугл-фо, фугл-фугл-орум!”

— Снова у него появился этот безумный взгляд, — пробормотал Юми.

— Вперед, Аззагедди, — сказал Медиа.

— Философ Грандо относился к своему телу с презрением. Частенько он закатывал ему настоящие скандалы и приходил в совершенное исступление. “Стыдись, жалкое тело! Ты сор, никчемщина, обуза! Ты не даешь мне летать; я прекрасно мог бы без тебя обойтись. Распрекрасно обойтись, говорю я, ты, поганая кладовка, погреб, сточная труба, выгребная яма, мерзость из мерзостей! Есть ли на свете такая гнусность, с которой нельзя было бы сравнить тебя? И ты, отребье, вздумало верховодить мной? А ну-ка, поклонись тому прохожему без моего позволения, если осмелишься! Чувствуешь, какая невыносимая вонь? Попробуй-ка отворотить нос прежде, чем я повелю тебе это сделать! Проглоти кусок ямса! — сделано. Переведи меня через вон то поле! — и мы идем. Остановись! — и ты останавливаешься как вкопанное. Я задал тебе сегодня довольно работы; теперь же, братец, изволь спрятаться в тень и перевести дух — и вот я уже отдыхаю. Ну а теперь пора прогуляться до дома и поразмыслить по пути: поднимайся же, тело, и шагай!” Итак, кроткое тело послушалось, а философ остался погружен в свои раздумья. Он как раз намеревался преобразовать круг в квадрат, но в эту минуту ударился головой о сук. “Как, безмозглый мужлан! Ты воспользовался моей задумчивостью, не так ли? Ну я тебе сейчас задам!” И, схватив дубинку, он по собственной доброй воле что было мочи хватил себя по плечам. Одним из самых метких ударов он перешиб себе позвоночник; философ рухнул замертво, но вскоре очнулся. “Сволочь! Я тебе еще покажу! Давай-ка, подымайся; вот придем домой — ты у меня попляшешь”. Но, как ни удивительно, ноги философа отказывались пошевелиться — он совершенно их не чувствовал. Вдруг появилась огромная оса; она ужалила ногу философа — но не его самого, — и поэтому он ничего не почувствовал, однако сама-то по себе нога непременно должна была взвиться в воздух и начать выделять всевозможные коленца. “Брысь! Пошла прочь!” — но нога оставалась недвижима. “Мои руки еще слушаются меня”, — сказал себе Грандо, и с их помощью ему удалось наконец привести в нужное положение свои взбунтовавшиеся члены. Но никакие приказы, воззвания и уговоры не могли убедить их доставить его домой. Место было пустынное, и пять дней спустя философ Грандо был найден под этим деревом испустившим дух.

— Ха! Ха! — расхохотался Медиа. — Аззагедди все такой же весельчак.

— Но, милорд, — сказал Баббаланья. — Некоторые обладают телами еще более своенравными, чем тело Грандо. Вот история из сказаний Ридендиаболы. Один полип-провинциал презирал свое подводное существование и мечтал жить в наземном мире. Но что бы он ни делал, его щупальца по-прежнему теснились у него в самом нутре. Предприняв сверхъестественное усилие, он наконец вывернулся наизнанку, предполагая, что после этого лишится потребности в питании. Но оказалось, что у его тела желудок есть как внутри, так и снаружи. Щупальца тут же ухватились за пищу, и пищеварение продолжилось.

— Все это точно так и было? — усомнился Мойи.

— Правдиво, как сама правда, — откликнулся Баббаланья. — С тех пор полип живет вывернутый наизнанку.

— Конечно, это любопытно, — заметил Медиа. — Но сдаётся мне, Баббаланья, что где-то я слышал что-то о так называемых органических функциях, которыми это явление может быть объяснено; слышал я также о некоторых рефлексах нервной системы, которые, будучи рассмотрены под определенным углом, совершенно прояснят всю твою якобы удивительную историю о Грандо и его теле.

— Не более чем звуковая оболочка непостижимых значений, милорд. Наука частенько пытается нас задобрить. То, что бесспорно в отношении Полипа, физиологи с готовностью применяют к нам, мардийцам; поскольку то, чем проложены наши внутренности, не более чем продолжение эпидермиса, постольку вполне возможно, что в отдаленном прошлом мы тоже вывернулись не на ту сторону: гипотеза, которая может косвенно объяснить нашу порочность, а также это бессмысленное в противном случае выражение — “Сердце в тисках”, — потому что изначально этот орган должен был располагаться снаружи.

— Пощади, Аззагедди, — сказал Медиа. — Ты же шут гороховый!

— Один из многих, милорд. А некоторые помимо того, что носят наизнанку собственные внутренности, щеголяют вывернутыми скелетами — свидетельство тому лобстеры и черепахи, которые могут изучать собственную анатомию, оставаясь при этом живыми.

— Аззагедди, ты сумасшедший.

— Прошу прощения, милорд, — заметил Мойи. — Мне кажется, он сам как лобстер: невозможно разобрать, где у него челюсти, а где клешни.

— Да, Заплетенная Борода, я лобстер, скумбрия — все, что тебе будет угодно, но моими предками были кенгуру, а не обезьяны, как предположил было старый Боддо. Моя теория гораздо нагляднее, чем его. Среди самых глубоко обнаруженных окаменелостей можно найти останки кенгуру, в то время как останков людей там нет. Следовательно, в те времена не было великанов, а кенгуру были, и эти кенгуру представляли собой первое издание человеческой расы, с тех пор многократно исправлявшееся и дополнявшееся.

— Куда же тогда подевались наши хвосты? — поинтересовался Мойи, который чуть не подпрыгивал на месте.

— О, это старинный вопрос, Мойи. Куда деваются хвосты головастика, после того как они постепенно превращаются в лягушек? Скажи, старик, есть ли у лягушек хвосты? Наши хвосты, Мойи, были стерты в порошок цивилизацией; решающим стал момент, когда наши праотцы выучились принимать сидячее положение, — одно из фундаментальных доказательств любой цивилизованности, а ведь ни обезьянах, ни о дикарях нельзя сказать, что они сидят: они неизменно присаживаются на корточки. Варварские племена не слыхивали о скамейках. Но, мой господин Медиа, как ваш вассал и любящий подданный, я не могу не сожалеть о том, что вы утратили свой королевский хвост. Этот упругий состоящий из позвонков орган, который мы находим у сельских сородичей, ныне отвергнутых нами, был бы очень полезен в качестве дополнения к вашим королевским ногам, и если сейчас мой добрый господин покачивается на двух подпорках, то, будь он кенгуру, подобно монархам древности, величие Одо было бы еще нерушимее, ибо покоилось бы на устойчивом треножнике.

— Какая забавная самонадеянность! Но берегись, Аззагедди, твоя теория не по мне.

— Баббаланья, — сказал Мойи. — Ты, должно быть, и есть последний из кенгуру.

— Так и есть, Мойи.

— А как насчет старомодных кошельков, которые носили твои бабушки? — намекнул Медиа.

— Милорд, я полагаю, это именно то, что должно было измениться со временем — в наши дни кошельками ведают уже представители нашего пола.

— Ха! Ха!

— Милорд, к чему это веселье? Будемте серьезнее. Пускай человек больше и не кенгуру, он может считаться низшим растением. Правильное растение не ощущает в себе движения соков; у нас, смертных, кровообращение так же бессозна-

тельно; на протяжении многих веков мы даже не подозревали о его существовании. Растения знать не знают ничего о своих внутренностях; мы сидим в своих телах трижды по двадцать лет и еще десять — и никогда в них не заглядываем; растения держатся на своих стеблях, а мы стоим на ногах; ни одно растение не расцветет, если корень его мертв; оказавшись после смерти в могиле, человек уже никогда не появится на поверхности земли; растения умирают без пищи — и мы тоже. А теперь поговорим о различиях. Растения элегантно вдыхают пищу, нисколько не заботясь о том, чтобы ее раздобыть; словно лорды, они стоят на месте, а им прислуживают, и хоть они и зеленого цвета, они никогда не страдают от коллик; тогда как мы, смертные, должны опустошить весь мир ради собственного пропитания, должны набить пищей свои внутренности — отвратительные кишки и желудок. Растения тоже совокупляются и размножаются, но насколько же они превзошли нас в науке соблазнения, ухаживаний и любовных побед, обходясь одной только нежной пыльцой и ароматом. Растения сидят на месте и остаются живы, мы же, чтобы не умереть, обязаны передвигаться. Растения будут цвести и без нас — мы же без них погибнем.

— Довольно, Аззагедди! — вскричал Медиа. — Не размыкай уст до самого завтрашнего дня.